

Стилизуя и пародируя героев Достоевского, Газданов вместе с тем отчасти использует приемы «стилизации» и «пародии» самого Достоевского, выявленные Ю. Н. Тыняновым в повести «Село Степанчиково и его обитатели».³⁰ И творческая свобода Газданова по отношению к героям Достоевского явно зиждется на творческой свободе самого Достоевского в отношении Гоголя и его героев. Вот почему по существу споря с Достоевским, Газданов одновременно солидаризируется с ним как с художником

³⁰ Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь С 198—226 За эту мысль, которая требует рассмотрения в отдельной работе, благодарю С. А. Кибальника

С А КИБАЛЬНИК

«НОЧНЫЕ ДОРОГИ» ГАЗДАНОВА КАК РИМЕЙК «ЗАПИСОК ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»

Особое отношение Гайто Газданова именно к «Запискам из Мертвого дома» Достоевского хорошо известно. В письме к Г. В. Адамовичу от 28 сентября 1967 г. он замечал «самое лучшее у него, мне кажется, это „Мертвый дом“». ¹ В передаче «Достоевский и Пруст», подготовленной для радиостанции «Свобода», озвучена та же точка зрения: «Есть, конечно, в том, что написал Достоевский, одна книга, которая стоит особняком {..} это „Записки из Мертвого дома“. Если бы Достоевский не написал ничего, кроме этой книги, место в истории русской литературы ему было бы обеспечено».²

Названные произведения уже были предметом «сопоставительного анализа» в специальной статье В. А. Боярского.³ Однако тема освещена автором далеко не полным образом, в работе немало довольно формальных сближений, не дается ответа на вопрос о том, сознательно ли Газданов ориентировался на Достоевского,⁴ не обра-

¹ Возвращение Гайто Газданова / Науч. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения М., 2000 С. 298

² Гайто Газданов Из «Дневника писателя» Три передачи на радио «Свобода» // Дружба народов 1976 № 10 С. 181

³ Боярский В. А. «Ночные дороги» Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского Опыт сопоставительного анализа // Электронный журнал «Исследовано в России» 2001 № 26, <http://zhurnal.apereklam.ru/articles/2001/0026.pdf> 273

⁴ Исследователь полагает, что «на этот вопрос без предварительного изучения рукописного наследия Газданова ответить невозможно», однако простое систематическое сопоставление двух произведений, предпринятое в настоящей

щается достаточного внимания на степень и характер трансформации мотивов, и интертекстуальные связи между двумя произведениями не получают вследствие этого необходимой интерпретации. Впрочем, остановимся вначале на ценных сопоставлениях, содержащихся в данной статье.

По справедливому мнению автора, определенные аналогии «могут быть увидены в самом предмете изображения: и Достоевский, и Газданов внимательно наблюдают и анализируют общественное дно. При этом сама тональность повествования — документальная с тщательным выписыванием всех подробностей — совпадает (здесь уместно вспомнить, что почти все герои Газданова и Достоевского имели своими прототипами реальных людей, причем первоначально Газданов даже хотел сохранить их имена за своими героями). Другой совпадающей деталью оказывается внимание к речи персонажей. у Достоевского доказательством такого внимания является так называемая „Сибирская тетрадь“, где он записывал выражения острожников; Газданов же вообще хотел дать диалоги своих „отверженных“ на аргю с подстрочным переводом».⁵

Действительно, в обоих произведениях имеет место установка не столько на создание выдуманного художественного мира, сколько на прямое изображение окружающих и своего личного опыта. Принцип создания такой литературы во времена Газданова был сформулирован Г. В. Адамовичем: «жизнь интереснее всякого вымысла».⁶ Однако открыт он был именно Достоевским (впрочем, разумеется, не только им). В центре обеих книг не несколько главных героев, а целая толпа людей, с которыми свела их жизнь. одного — в остроге, а другого — в той парижской жизни, которая выпала на долю Газданова в эмиграции. Как и некоторые другие западноевропейские писатели межвоенного двадцатилетия, Газданов создает «роман коллективного героя»,⁷ и естественной опорой для него в этом оказываются «Записки из Мертвого дома». У Газданова все же есть несколько главных героев, с которыми героя-рассказчика связывают более близкие отношения и характеры которых разработаны более детально

статье, по существу абсолютно убеждает в том, что наряду с бессознательной в данном случае явно присутствует и сознательная ориентация

⁵ Боярский В А «Ночные дороги» Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф М Достоевского

⁶ Адамович Г Литературная неделя («Вечер у Клэр» Г Газданова—«Утро» Галины Кузнецовой—Мопассан в России) // Иллюстрированная Россия 1930 № 11 (252) 8 марта С 14

⁷ Как справедливо отметил А М Зверев, «это роман о Париже в самом точном смысле слова, так как Париж и является в нем главным героем Персонажи плотно вписаны в его „печальное пространство“, фактически немислимы вне его как самостоятельные существующие индивидуальности» (Зверев А М Парижский топос Газданова // Возвращение Гайто Газданова С 61)

(Платон, Ральди, Федорченко, Сюзанна, Алиса). У Достоевского все герои второстепенные и различаются они лишь по степени более или менее детального их изображения.

Также «во многом схожи сами позиции нарраторов (...) оба нарратора — своего рода согладатеи из другого мира. Их описания этого мира обладают несомненной схожестью тона; романтический флер оказывается снят со среды „отверженных“ целиком и полностью». Кроме того, в обеих книгах В. А. Боярский обнаруживает «группу идентичных мотивов»: «мотив накопления», «мотив расточительства», «мотив обучения», «мотив праведной блудницы» и «мотив различия и невозможности слияния миров», а также выделяет в них «прямые совпадения», а именно «совпадения имен персонажей».⁸

Прежде всего необходимо заметить, что «мотив различия и невозможности слияния миров», как В. А. Боярский формулирует соотношение между представителем образованного класса, повествователем, и простым человеком,⁹ является не одним из мотивов, а одной из центральных тем обеих книг, и все остальные названные общие мотивы входят в нее как составляющие элементы. Вдобавок интертекстуальные связи «Ночных дорог» с «Записками из Мертвого дома» и с творчеством Достоевского гораздо шире. И наконец, the last but not the least, у Газданова в большинстве случаев наблюдается существенная трансформация мотивов и образов Достоевского. Остановимся вначале на том, как в обоих произведениях решена тема «различия и невозможности слияния миров».

1

Как и «Записки...» Достоевского, «Ночные дороги»¹⁰ это попытка документальной фиксации и внутреннего осмысления «путешествия» героя-рассказчика в особый социокультурный мир. Вместо вынужденного погружения на определенное время в мир «острога» у Газданова мы находим также недобровольный — хотя и не в такой мере — переход в мир парижских фабричных рабочих, проституток, бездомных и русских эмигрантов-пролетариев.¹¹

⁸ Боярский В. А. «Ночные дороги» Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского

⁹ Исследователи Достоевского обыкновенно формулируют «центральный конфликт книги» как «сословную вражду, разделяющую цивилизованную верхушку народа и простонародье» (Туниманов В. А. Творчество Достоевского 1854—1862 Л., 1980 С. 122)

¹⁰ Далее в тексте используется аббревиатура заглавия этого романа НД

¹¹ В отличие от «монпарнасцев», живших в основном в своей достаточно узкой среде, Газданов сознательно пошел на тесный контакт с той частью французского общества, с которой он был возможен, т. е. прежде всего с социальным «дном» Парижа. В какой-то степени сам выбор Газдановым работы шофером,

Основным внутренним сюжетом «Записок...» является постепенное осознание Горянчиковым того, что, даже оказавшись в одинаковых условиях с простым человеком, он не перестает быть для них «чужим». Его «записки» начинаются с наблюдения: «На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагоклонно. Несмотря на то, что те уже лишены всех своих прав состояния и вполне сравнены с остальными арестантами, — арестанты никогда не признают их своими товарищами. Это делается даже не по сознательному предубеждению, а так, совершенно искренно, бессознательно. Они искренно признавали нас за дворян, несмотря на то что сами же любили дразнить нас нашим падением» (4, 26). В дальнейшем ту же мысль высказывают и другие герои «Записок...»: «Это не за чай, — отвечал поляк. — Они злятся на вас за то, что вы дворянин и на них не похожи. Многие из них желали бы к вам придраться» (4, 32). Этот внутренний сюжет достигает кульминации в главе «Претензия», в конце которой Горянчиков признается: «Я понял, что меня никогда не примут в товарищество, будь я разарестант, хоть на веки вечные, хоть особого отделения. Но особенно остался мне в памяти вид Петрова в эту минуту. В его вопросе: „Какой же вы нам товарищ?“ — слышалась такая неподдельная наивность, такое простодушное недоумение. Я думал: нет ли в этих словах какой-нибудь иронии, злобы, насмешки? Ничего не бывало: просто не товарищ, да и только» (4, 207).

Безымянный герой-рассказчик Газданова с самого начала не питает каких-либо иллюзий относительно своей общности с рабочими, с которыми он работает на фабриках. Одним из устойчивых мотивов НД является то, что, напротив, сами рабочие, не подозревая о полученном им образовании, считают его своим и настойчиво увещевают не ставить себя на одну доску с образованными людьми: «Чему же ты будешь учиться? — Я отвечал, подробно перечисляя предметы, которые меня интересовали. — Ты знаешь, ведь это трудно, нужно знать много особенных слов, — говорили они. Потом один из них наконец заявил, что это невозможно; чтобы поступить в университет, нужно окончить среднее учебное заведение, лицей, в котором могут учиться только богатые люди. Я сказал, что у меня есть нужный аттестат. Они недоверчиво качали головами, и одна работница мне посоветовала бросить эти никому не нужные вещи...».¹²

по-видимому, не в последнюю очередь включал и намерение написать своего рода новые — только не сибирские, а парадоксальным образом парижские — «Записки из Мертвого дома». Таким образом, это произведение Достоевского во многом определило ту достаточно оригинальную литературную стратегию, которую Газданов одним из немногих среди младшего поколения первой волны русской эмиграции взял на вооружение.

¹² Газданов Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1999. Т. 1. С. 486. Далее ссылки на это издание (М., 1999. Т. 1—3) приводятся в тексте с указанием номера тома римской, а номера страницы — арабской цифрой.

Установка Горянчикова, как он декларирует ее сам в самом конце своего рассказа, прежде всего повествовательная: «Мне хотелось представить весь наш острог и все, что я прожил в эти годы, в одной наглядной и яркой картине» (4, 220). На деле она, разумеется, включает и анализ, стремление к тому, чтобы понять его новое, необычное окружение, хотя эти попытки Горянчикову не слишком удаются: «Не понимал я тоже, зачем он живет в остроге, зачем не бежит?» (4, 85); «Я пробовал было расспрашивать и разузнавать об них у Акима Акимыча (...), „Нет, видно, надо самому испытывать, а не расспрашивать“, — подумал я» (4, 69). У газдановского героя-рассказчика аналогичная установка уже на первой странице романа формулируется как «то ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которое в последние годы почти не оставляло меня» (I, 463).

Социокультурная типология людей, воплощенная в обоих произведениях, также довольно сходна: она основана прежде всего на выделении двух резко противоположных друг другу социальных классов. Так, в «Записках из Мертвого дома» прямо сказано, что заключение в остроге для дворян оказывается более суровым наказанием, чем для простого народа: «Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти в среду для себя недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом... Это — рыба — вытасенная из воды на песок...» (4, 55); «— Здесь ужасно тяжело для всех нас. Нам всех тяжелее во всех отношениях. Нужно много равнодушия, чтоб к этому привыкнуть» (4, 32). В то же время в НД героя-рассказчика «неоднократно поражало отношение шоферов к пассажирам из Auteuil и Пасси; питая к ним нечто вроде классовой неприязни, они бессознательно и молча признавали их воображаемое превосходство» (I, 602). При этом образованные русские эмигранты-пролетарии вследствие этого вызывают у простых французов особое сочувствие: «(...) русских я знаю. Ты их видишь и смотришь на них, как на всех остальных, и не понимаешь, насколько они несчастны. Они, брат, были адвокатами, докторами, офицерами, имели слуг и все, что полагается богатым людям, и вот теперь они ездят на такси, как ты или я. Это, брат, тяжело. Я думаю, что для этого надо иметь мужество» (I, 602).

Примирение простых французов с социальным расслоением вызывает у героя-рассказчика НД резкое неприятие: «И этому простому и великодушному человеку никогда не приходило в голову, что и он имел бы право жить не хуже, чем они, или, во всяком случае, стремиться к этому. (...) Я нигде не имел возможности так близко видеть резкую социальную разницу между людьми и, главное, такого полного примирения со своей участью, я никак не мог к этому привык-

нуть» (I, 603)¹³ Впрочем, единодушное соблюдение по крайней мере «внутренних уставов и принятых обычаев острога» (4, 12) отмечает и Горянчиков. Если при этом он сам пытается проявить солидарность и установить «товарищеские» отношения с заключенными-простолюдинами («я решил, что надо держать себя как можно проще и независимее, отнюдь не выказывать особенного старания сближаться с ними, но не отвергать их, если они сами пожелают сближения» — 4, 76), то газдановский герой-рассказчик, оказавшись волею случая «своим среди чужих», напротив, принужден выслушивать наставления рабочих оставить свои надежды хоть в чем-нибудь сравняться с представителями образованных классов.

Тема социокультурной пропасти между дворянами и народом в повествовании Горянчикова проводится довольно широко и разнообразно. Так, например, она иллюстрируется бесконечными займами у него денег: «Хоть у меня вовсе не было при входе в острог больших денег, но я как-то не мог тогда серьезно досадовать на тех из каторжных, которые почти в первые часы моей острожной жизни, уже обманув меня раз, пренаивно приходили по другому, по третьему и даже по пятому разу занимать у меня. Но признаюсь в одном откровенно мне очень было досадно, что весь этот люд, с своими наивными хитростями, непременно должен был, как мне казалось, считать меня простофилей и дурачком и смеяться надо мной, именно потому, что я в пятый раз давал им деньги» (4, 68). Аналогичное поведение русских эмигрантов-«стрелков» по отношению к герою-рассказчику изображено в НД: «— Мы, милый человек, знаем, что у вас самих денег нет. И зачем вы этой сволочи их даете? — Я ответил ему, пожав плечами, что два франка, которые я обычно даю, меня не разорят и что если человек идет просить милостыню, то надо полагать, что он это делает не для удовольствия — Какое же удовольствие, это верно, — сказал он, — а все-таки всем без разбору давать — это не дело. Молоды вы, милый человек, вот что — И он ушел, взяв у меня два франка» (I, 553—554)¹⁴.

Хотя среда, которую изображали Достоевский и Газданов, была относительно сходной, отношение героев-рассказчиков к ней разли-

¹³ Эта черта в НД приписана не только шоферам: «И эта наивная, нищенская психология была одинаково сильна в самых разных людях. Даже сутенеры и проститутки, даже профессиональные воры, даже самые отчаянные из них и близкие к сумасшествию, даже коммунисты и анархисты, которых мне приходилось видеть, никогда не сомневались ни на минуту в том, что право собственности есть священнейшее из прав» (I, 637). Отчасти это напоминает убежденность в конечном торжестве правосудия одного из героев «Записок» дворянина Акима Акимыча: «Он молча и чрезвычайно спокойно выжидал окончания дела, нимало не тревожась его исходом, напротив, совершенно уверенный в неминуемом торжестве порядка и воли начальства» (4, 204).

¹⁴ Параллели из Достоевского к аналогичным эпизодам «Черных лебедей» см. *Кибатьник С. А.* «Новые узоры по старой канве» С. 246—247.

чается довольно сильно. Уравнивая большинство сидящих в остроге с «народом», Достоевский не чужд некоторой их идеализации: «Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее. (...) Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу, — напротив: сами они все еще должны у него поучиться» (4, 122). У Газданова, несмотря на то что он оговаривается: «...население ночного Парижа резко отличалось от дневного и состояло из нескольких категорий людей, по своей природе и профессии чаще всего уже заранее обреченных», — вместо этого традиционное для экзистенциализма противопоставление «всеобщему»: «Все или почти все, что было прекрасного в мире, стало для меня точно наглухо закрыто — и я остался один, с упорным желанием не быть все же захлестнутым той бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью, в ежедневном соприкосновении с которой состояла моя работа» (I, 465).¹⁵

Разумеется, у Достоевского представлено удивительное смешение самых разных людей, какое только и бывает, наверное, в тюрьме: «— Иной из кантонистов, другой из черкесов, третий из раскольников, четвертый православный мужичок, семью, детей милых оставил на родине, пятый жид, шестой цыган, седьмой неизвестно кто, и все-то они должны ужиться вместе во что бы то ни стало, согласиться друг с другом, есть из одной чашки, спать на одних нарах» (4, 28). Напротив, в газдановском Париже подчеркивается крайняя разделенность людей разного социального происхождения — даже территориально «Париж разделен на несколько неподвижных зон; я помню, что один из старых рабочих — я был вместе с ним на бумажной фабрике возле бульвара de la Gare — сказал мне, что за сорок лет пребывания в Париже он не был на Елисейских полях, потому что, объяснил он, он там никогда не работал. В этом городе еще была жива, — в бедных кварталах, — далекая психология, чуть ли не четырнадцатого столетия, рядом с современностью, не смешиваясь и почти не сталкиваясь с ней» (I, 467). Эти социокультурные различия между людьми, с точки зрения газдановского героя-рассказчика, не менее значительны, чем даже межкультурные «Я еще не знал в те времена, что разные люди, которых мне приходится встречать, отделены друг от друга почти непреходимыми расстояниями; и живя в одном городе и одной стране,

¹⁵ Впрочем, идеализация Достоевским народа также находит у Газданова некоторую параллель « у многих простых русских людей я замечал именно этот вид душевной роскоши, сравнительно редкий в Европе вообще. В этих русских было от природы заложено некое этическое начало, естественно предшествующее возникновению творческой культуры, возможности которой казались почти совершенно заглушенными здесь, на западе» (I, 610—611). Русские противопоставлены здесь французам совершенно аналогично тому, как народ в «Записках» противопоставлен дворянам

говоря на почти одинаковых языках, так же далеки друг от друга, как эскимос и австралиец» (I, 486).

Как и Горянчиков, герой-рассказчик НД, ощущая себя своего рода «чужим среди своих», испытывает в то же время своеобразное влечение к рабочим:¹⁶ «Несмотря на то, что я был совершенно чужд этим моим товарищам по работе — фрезеровщикам, сверлильщикам, слесарям, — у меня с ними были прекрасные отношения, и в чисто человеческом смысле они были во всяком случае не хуже, а часто даже лучше, чем представители других профессий, с которыми мне пришлось сталкиваться, и, во всяком случае, честнее. Меня поража-ло, мне не могло не imponировать то веселое мужество, с которым они жили» (I, 486—487). При этом ту «резкую разницу, которая была между ними» и им «и которая невольно подчеркивала несуразность» его положения, его «неуместность на фабрике», газдановский герой-рассказчик «старался сглаживать, как мог, чтобы не привлекать постоянного внимания соседей, и через некоторое время» он «научился понимать и употреблять термины аргю и стал одеваться так же, как они» (I, 487). Горянчиков полагает, что одинаковые условия сами по себе уничтожают существующую между заключенными дворянами и остальными острожными разницу состояний: «Все это моя среда, мой теперешний мир, — думал я, — с которым, хочу не хочу, а дол-жен жить...» (4, 69).

Однако если Горянчиков все же ведет себя сообразно своему дворянскому званию, то в книге Достоевского есть другой герой, который становится с каторжанами совершенно на одну ногу Это Аким Акимыч: «Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздор-ный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругал-ся с ними, даже дрался» (4, 26).¹⁷ Точно так же, как Аким Акимыч, герой-рассказчик НД пытается, по крайней мере внешне, не выде-

¹⁶ Как мне уже приходилось писать, «если мир парижских проституток и сутенеров противопоставлен каторжникам Достоевского, многие из которых окружены ореолом своеобразной трагической красоты, то и Газданов с явной симпатией пишет о рабочих, причем неоднократно в применении к их труду воз-никает эпитет „каторжный“» (*Кибальник С А* «Новые узоры по старой канве» С 258) Подобные «оговорки» у Газданова отнюдь не случайны это, если можно так выразиться, «оговорки по Достоевскому»

¹⁷ Акима Акимыча Горянчиков зачисляет в «разряд совершенно равнодуш-ных каторжных» «Совершенно равнодушных, то есть таких, которым было бы все равно жить что на воле, что в каторге, у нас, разумеется, не было и быть не могло, но Аким Акимыч, кажется, составлял исключение» (4, 37) У Газданова Платон, несмотря на то что спивается, каждое утро благодарит Господа «за то, что он создал мир, в котором мы живем», и совершенно убежден в том, что «Он действительно хорошо сделал», как бы он сам «ни был несчастен и пьян» (I, 477)

ляться из своего нового окружения, коль скоро он оказался в одинаковом с ними положении.

Впрочем, его готовность хотя бы внешне «слиться» с простонародьем вызывает решительный протест со стороны некоторых других фабричных интеллигентов, в частности со стороны героя, похожего «на один из портретов Достоевского, который, кстати сказать, был его любимым автором» (I, 488): «— Судя по вашей манере говорить, вы человек интеллигентный, — сказал он, — как же вы не понимаете, что все это не важно, а важно сохранить человеческую сущность». «Я не считаю, что чистый костюм является для этого таким препятствием», — парирует его замечание герой-рассказчик (I, 488).

Тема соотношения двух миров развивается в обоих произведениях сходным образом еще и в том отношении, что повествователь и там, и тут испытывает неожиданное и не совсем понятное для него тяготение к нему со стороны простых людей. Так, Горянчиков поражается силе привязанности к нему Сушилова, который, казалось, прислуживал ему для заработка: «Бедный Сушилов! Он заплакал, когда я подарил ему мои арестантские обноски, рубашки, подкандалники и несколько денег. „Мне не это, не это! — говорил он, через силу сдерживая свои дрожавшие губы, — мне вас-то какво потерять, Александр Петрович? На кого без вас-то я здесь останусь!“» (4, 231).

Жизнь героя-рассказчика НД, прошедшего сквозь фабрики, контору и университет без установления сколько-нибудь серьезных связей с другими людьми, «неожиданным и маловероятным образом» «оказалась сплетенной с тремя женщинами, Ральди, Сюзанной и Алисой», также вышедшими из простонародья: «Знакомство с Ральди возникло из ее ошибки ⟨...⟩. Но Сюзанна и Алиса, обе питали ко мне нечто вроде непонятого доверия, которое было чрезвычайно трудно объяснить чем бы то ни было, кроме явного заблуждения, даже не умственного, а душевного. И хотя ни той, ни другой я никогда не сказал — так как мне незачем было притворяться и быть неискренним — ни одного даже просто вежливого слова, они обе рассказывали мне все, что им приходило в голову и что им казалось важным ⟨...⟩. Может быть, впрочем, частичным объяснением этой их настойчивости было то, что меня явно не интересовала их покупная близость и что я не принадлежал к среде, в которой они жили» (I, 632). Таким образом, интерес к герою-рассказчику со стороны Алисы и Сюзанны он сам в конце концов объясняет так же, как Горянчиков объясняет причины интереса к нему со стороны некоторых осторожных — как к представителю другой среды.

У Газданова некоторые герои-эмигранты, например Федорченко, превращаются в простолюдинов и внутренне. Герою-рассказчику это представляется «проявлением многообразнейшего инстинкта самосохранения, вызвавшего постепенную атрофию некоторых способностей, ставших не только ненужными, но даже вредными для той жиз-

ни, которую эти люди теперь вели, — и прежде всего, способности критического суждения и той известной интеллектуальной роскоши, к которой они привыкли в прежнее время и которая в теперешних обстоятельствах была бы неуместна и невозможна» (I, 491). Однако если подобные трансформации из интеллигентов в рабочие были по-своему спасительны для некоторых из них, то пример Федорченко, переживающего затем в романе возвращение в мир культуры, служит иллюстрацией «беспощадной мести, которую ему готовила эта самая ненужная культура и отвлеченные понятия» (I, 490).

По предположению В. А. Боярского, «фигура Федорченко — скрытая пародия на героев Достоевского и, возможно, на самого Достоевского (...) Когда нарратор встречается с Федорченко и тот начинает задавать ему вопросы о смысле жизни, становится понятным, что этот изменившийся персонаж уже не сможет вести прежний образ жизни, пока не найдет ответа. Такой внутренний конфликт напоминает нам о персонажах Достоевского, для которых идея, их понимание смысла собственного существования, полностью определяет их жизненное поведение. (...) Связь Федорченко с проституткой делает очевидной аналогию с Раскольниковым. Сама готовность Федорченко к убийству (он и Васильев покупают себе оружие) поддерживает тему Раскольникова, убийцы, пережившего целую цепь духовных метаморфоз. Даже сама гротескность, оригинальность фигуры Федорченко совпадает с аналогичным качеством многих героев Достоевского (вспомним только князя Мышкина или семью Карамазовых). (...) Само имя персонажа содержит в корне имя Фёдор, что также может быть отсылкой к Достоевскому».¹⁸

Федорченко действительно представляет собой героя, сотканного из черт самых разных героев Достоевского (но не самого писателя). Если это пародия, то пародия не на самого Достоевского, а на его героев — и на тип «идеологического героя» вообще. К сопоставлениям исследователя можно прибавить также напрашивающиеся аналогии с героями-самоубийцами (Кирилловым, Крафтом). Можно заметить в нем и сходство то с одним, то с другим персонажем «Записок...». Так, «чем-то страшным» в лице, в чем герой-рассказчик «никогда не мог дать себе отчета», но которому «всегда бывало неуютно», когда он «находился рядом с этим человеком» (I, 496), Федорченко напоминает Петрова, вызывающего у окружающих ощущение исходящей от него опасности. В то же время своим полным приспособлением к эмигрантской жизни он напоминает дворянина А-ва и Акима Акимыча: «В нем в сильнейшей степени была развита та же черта, которую я неоднократно наблюдал у многих русских, для которых все, что существовало прежде, и что в конце концов определило их судьбу, перестало суще-

¹⁸ Боярский В. А. «Ночные дороги» Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

ствовать и заменилось той убогой иностранной действительностью, в которой они в силу, чаще всего, плохого знания французского языка и отсутствия критического чувства именно по отношению к этой среде видели теперь чуть ли не идеал своего существования (I, 491).

В целом же в Федорченко запечатлен своего рода типический герой Достоевского — с его исканиями смысла жизни и даже богоискательством. Ср.: «— Я недавно перечитывал Евангелие. Я кивнул головой. — Там мне запомнилось одно место. — Какое? — „Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы“. Значит, ответ на все где-то есть». И образ Федорченко служит в НД выявлению ущербности экзистенциального сознания: герой-рассказчик, выработавший в себе уже некий иммунитет против него, не может спасти представителя народа, вдруг пережившего «пробуждение»: «Он опять посмотрел на меня, и мне снова показалось, что я встречаю взгляд каких-то человеческих глаз, которых я до этой ночи не видел. (...) В ту же минуту мне стало ясно, что этот человек был обречен не менее безвозвратно, чем Васильев, потому что с такими глазами нельзя было продолжать жить по-прежнему — коммерческое предприятие, Сюзанна, поездки за город по субботам. Вопросы, от которых он не мог отделаться и ответы на которые ему казались настолько необходимыми, что без них не стоило жить, — все эти вопросы были мне знакомы очень давно; и так как я медленно и постепенно привыкал к их трагической неразрешимости, во мне выработалось нечто вроде иммунитета против них. Федорченко же был беззащитен» (I, 644—645). В отличие от героя-интеллигента представитель народного сознания, потеряв Бога, гибнет. Линия «герой-рассказчик—Федорченко» в этом плане аналогична уже не столько «Запискам из Мертвого дома», сколько «Братьям Карамазовым»: пропитавшись атеистическими идеями Ивана Карамазова, Смердяков не только вещает, как Федорченко, но еще и совершает преступление.

Яркой иллюстрацией различий в решении темы взаимоотношений с новым окружением в обоих произведениях может послужить одна конкретная сцена Достоевского, очевидно отразившаяся в особом эпизоде НД. В «Записках...» рассказывается о том, как у плацмайора вызвал возмущение внешний вид прибывшей в острог новой группы осужденных, которых в течение долгого времени не брили: «— В каком они виде! — заревел он. — Это бродяги, разбойники! Ж-кий, тогда *еще плохо понимавший по-русски* и подумавший, что их спрашивают, кто они такие: бродяги или разбойники? — отвечал: — Мы не бродяги, а политические преступники» (4, 211). Под пером Газданова этот эпизод, по-видимому, отозвался в следующей сцене: «Когда мы выстроились утром, пришел директор, полный мужчина с заплавленными глазами под золотым пенсне: он осмотрел нас и потом сказал шефу, который его сопровождал: — Это просто беглые каторжники. Но никто из них *не понял этой фразы*, и они все искательно

и выжидательно улыбались» (I, 482)¹⁹ Социокультурный уровень газдановских героев существенно более низкий. Если принять во внимание эту возможную интертекстуальную связь, то ирония Газданова, проявившаяся в этом эпизоде, выглядит еще более саркастической

2

Как «Записки», так и НД сохраняют, хотя и отдаленную, жанровую связь с традициями русского «физиологического очерка» и представляют собой развернутое изображение особых социокультурных миров, отчетливо распадающееся на изображение их различных аспектов²⁰ Разница в том, что у Достоевского некоторым из этих аспектов посвящены особые эпизоды или даже разделы «Записок», а в НД эпизоды, относящиеся к одним и тем же граням этих миров, как правило, разбросаны по всему тексту романа. У обоих писателей можно найти, в частности, такие темы «острожной» и ночной парижской жизни, как «люди и животные», «образованность и уроки», «ссоры и потасовки», «алкоголики, сумасшедшие и бродяги», «протитутки», «работа», «простые люди и буржуа»

Тема соотношения дворян/интеллигенции и простонародья, а также тема социокультурной трансформации, красной нитью проходящие через оба произведения,²¹ развиваются в том числе и в аспекте соотношения «люди—животные». Соотношение человеческого и звериного начал как важнейшее антропологическое измерение декларировано в «Записках»: «Свойства палача находятся почти в каждом современном человеке. Но не равно развиваются звериные свойства человека. Если же в ком-нибудь они пересиливают в своем развитии все другие его свойства, то такой человек, конечно, становится ужасным и безобразным» (4, 155). В НД это измерение проявляется неоднократно: «Я рассказал о счастливом гарсоне одному из моих алкогольных собесед-

¹⁹ Здесь и далее в цитатах курсив мой — С К

²⁰ Исследователи обыкновенно выделяют в «Записках» помимо исповедально-биографического и аналитического планов «очерки быта и нравов необычного мира (так сказать этнографический слой)», а также «истории рассказанные каторжанами и как будто *только что* записанные Горячкиковым с абсолютной точностью» (Туниманов В А Творчество Достоевского 1854 1862 С 93)

²¹ В большей степени эта тема, разумеется, представлена в НД, где серьезные трансформации претерпевают почти все герои, причем французы (Сюзанна Алиса Ральди, Платон) — только внешние, а некоторые русские (Федорченко) также и внутренние. Заметное место в романе занимают переодевания героев (Федорченко, Платон, Куликов), qui pro quo (Куликова «по ошибке приняты за кого-то другого» — I, 530) и различного рода мистификации, например, распевание на улице оперных арий бродягой («— Когда слышат, что ты это поешь сразу думают — это не простой человек, раз он знает оперу» (I, 572)

ников, которого прозвище было Платон () К счастливому гарсону он отнесся скептически и сказал, что к таким примитивным существам неприменимы наши представления о счастье, но он допускал, что по-своему гарсон мог быть счастлив, — как собака, или птица, или обезьяна, или носорог» (I, 475—476)²² У Газданова частые сравнения обывателей с животными входят в традиционное для экзистенциализма типологическое противопоставление людей с «пробудившимся» сознанием «всемству» «— И у меня будет магазин, — говорил пьяный голос Сюзанны — И потом я люблю этого человека, я без него жить не могу () Я подумал о Ральди, которая говорила мне, что женщины типа Сюзанны так же любят, как другие, но это унижительное уравнение я всегда понимал только теоретически» (I, 541—542)

Герой-рассказчик НД нередко отстаивает перед своими оппонентами-интеллигентами концепцию «народа» как общности, скорее приближающейся к животным, чем к людям с развитым сознанием «После этого я посоветовал безработному „убираться к дьяволу“ Мой собеседник покачал головой и сказал — Как вы, интеллигентный человек, можете так разговаривать? Я пожал плечами и ответил ему, в свое оправдание, что с каждым следовало, по-моему, говорить его языком, иначе он вас не поймет „Вспомните анекдот о Гамлете“, — сказал я ему Он не знал его, тогда я рассказал, как командир какого-то полка, решив развивать своих подчиненных, выписал приличную труппу актеров, которая исполнила перед полком знаменитую пьесу Шекспира Солдатам пьеса чрезвычайно понравилась хохот стоял в зале с начала до конца — Какая злостная ерунда! — сказал он — Какая несправедливая клевета!» (I, 578) Этот диалог звучит как своего рода спор героя-рассказчика НД с Достоевским, как известно, вложившим в уста Горячкова также и тирады о нравственном превосходстве народа над интеллигенцией

Нередко на страницах НД заходит речь о метаморфозе личности, связанной с потерей человеческого сознания Иногда это прямо формулируется героем-рассказчиком «Я разговаривал как-то об этом с одним из моих товарищей, и он вдруг сказал, прерывая меня — Ты помнишь книгу Уэллса, которую мы читали много лет тому назад — „Остров доктора Моро“? Ты помнишь, как животные, обращенные в людей, после того как из-за какой-то катастрофы доктор Моро потерял над ними власть, — ты помнишь, с какой быстротой они забывали человеческие слова и возвращались к прежнему состоянию? — Это унижительное сравнение, — сказал я, — это чудовищное преувеличение, я не могу с тобой согласиться Но позже, после того как мне

²² По мнению В. А. Боярского, «разницу миров» «Газданов склонен объяснять не только экономическими факторами, но и факторами биологическими» (см. *Боярский В. А. «Ночные дороги» Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского*)

пришлось видеть множество примеров этого душевного и умственного обнищания, я думал, что мой товарищ был, может быть, более прав, чем мне казалось сначала» (I, 491) По-видимому, Газданов, если не разделял, то во всяком случае хорошо знал утверждение Ницше о том, что «человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком»²³

Иногда у читателя появляется лишь мимолетная ассоциация «Попрошавшись с ними, я долго смотрел им вслед, они уходили по прямой улице, все удаляясь от меня, и над их головами темнели в воздухе слегка изогнутые ножки стульев, и на большом расстоянии их можно было принять за двух *невысоких рогатых животных неизвестной породы*» (I, 546), «— Вам не стыдно, *животное?* Женщин не бьют» (628), «все эти любители ночных кабачков или специальных заведений, эти своеобразные влюбленные, по терминологии Ральди, похожие своим бесстыдством на *обезьян зоологического сада*» (I, 631), «эти тупые и медленные движения тщательно одетых сутенеров и проституток, которые приходили сюда, *как животные к водопою*» (I, 643) Даже о самом герое-рассказчике хозяйка квартиры говорит «*Это животное?* Он спит, как мешок» (I, 619)

Разумеется, ничего подобного в «Записках» нет Впрочем, хотя и решенный совсем в другом ключе — не как отождествление или трансформация, а как соотнесение — мотив «люди / животные» звучит на страницах этого произведения неоднократно и даже составляет целую отдельную главу «Каторжные животные» (4, 185—194) Причем если у Достоевского эти животные описаны с нескрываемой теплотой, а любовь к ним «наших арестантиков» названа одной из вещей, которая как нельзя лучше могла бы «смягчить, облагородить суровый и зверский характер арестантов» (4, 189), то у Газданова животных как таковых на страницах романа нет совсем

Вообще роман Газданова пронизывает тема «превращения», метаморфозы У героя-рассказчика НД создавалось впечатление, что он живет в «гигантской лаборатории, где происходит экспериментирование форм человеческого существования, где судьба насмешливо превращает красавиц в старух, богатых в нищих, почтенных людей в профессиональных попрошайек — и делает это с удивительным, невероятным совершенством» (I, 491—492) Напротив, мир «Записок» утверждает незыблемость социокультурных границ даже и в остроге Единственная настоящая метаморфоза в книге — это превращение плац-майора после его отставки «Он вышел в отставку, пару серых продал, потом все имение и впал даже в бедность Мы встречали его

²³ Ницше Ф Так говорил Заратустра // Соч В 2 т М., 1990 Т 2 С 56 Параллель с Ницше отмечена Л У Звонаревой (Зооморфный код в прозе Газданова // Русское Зарубежье Приглашение к диалогу / Сб науч трудов, Отв ред Л В Сыроватко Калининград, 2004 С 129– 130)

потом в штатском изношенном сюртуке, в фуражке с кокардочкой. Он злобно смотрел на арестантов. Но все обаяние его прошло, только что он снял мундир. В мундире он был гроза, бог. В сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея» (4, 218).²⁴ Однако речь здесь идет в основном об изменении имиджа — у Газданова же, например в случае с Федорченко, происходит полное превращение человека с пробужденным сознанием в обывателя, и затем наоборот. Кстати, это превращение в обывателя, т. е., по Газданову, в своего рода животное, и затем снова в человека (с пробуждением в нем более высокого начала «Вот эта безмятежность ночного неба, — сказал Федорченко, — вот к чему у меня душа тянется») (I, 548)), имеет в НД ряд внутренних сближений с «Островом доктора Моро» Г. Уэллса, который, как уже было отмечено выше, на страницах романа прямо вспоминает один из его эпизодических героев. Роль Васильева в жизни Федорченко, следовательно, отчасти соотнесена с ролью доктора Моро в жизни созданных им людей, Федорченко в результате всего этого, так же как и они, погибает

Тема социокультурной пропасти между людьми соотнесена у Газданова и Достоевского также и в эпизодах, в которых одни герои учат чему-то или отвечают на вопросы других. В. А. Боярский уже отметил общность у Достоевского и Газданова мотива обучения: Горянчиков обучает Алея читать и писать по-русски, используя для этого Новый Завет, — газдановский герой-рассказчик достает романы, которые читает Алиса по выбору Ральди. При этом, однако, произвольно возводя фамилию Алисы — Фише — к корням, имеющим христианское значение, исследователь преувеличивает сходство мотива обучения у обоих писателей.²⁵ Различия между Газдановым и Достоевским в данном случае тем более очевидны, что Алей с радостью усваивает не только русскую грамоту, но и красоту христианского вероучения («ты меня человеком сделал» — 4, 54); между

²⁴ Между прочим, оно явным образом отозвалось в НД « в пьяном старике с седыми усами и мутным взглядом, которого я встретил в маленьком кафе одного из парижских пригородов () я узнал свирепого, усатого генерала, которого помнил по России, высокомерного и жестокого начальника» (I, 492)

²⁵ Впрочем, он с полным основанием отмечает, что эти образы сближает «одно несомненное совпадение их невероятная красота» К этому можно добавить также и бросающуюся в глаза звуковую близость имен Вообщем Алиса Газданова конечно навеяна Алеем Достоевского, но связь между этими образами скорее ассоциативная. Фамилия героини «Фише» в этом плане, вероятно, также ассоциативно связана с новообращенным красавцем-татарином Достоевского («Данная фамилия, по-видимому, происходит от немецкого слова „Fisch“ — рыба, рыба же, как известно, является одной из аллегорий Христа», — справедливо поясняет В. А. Боярский) Однако его соображение «ведь Ральди обучает Алису искусству любви, *ars amandi*, центральным же местом проповеди Христа также является любовь» — не выдерживает критики (см. *Боярский В. А. «Ночные дороги» Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского*)

тем для Алисы эти уроки оказываются совершенно бесполезными (I, 533—534). Таким образом, у Газданова налицо переосмысление этого мотива Достоевского Пафосу преобразования человека словом христианского вероучения противопоставлена газдановская убежденность в неспособности к экзистенциальному «пробуждению» большинства представителей «всемства».

В «Записках...» мотив обучения, как было отмечено В. А. Боярским, проходит также через отношения с Горянчиковым Петрова «Я вот хотел вас про Наполеона спросить Он ведь родня тому, что в двенадцатом году был? (Петров был из кантонистов и грамотный.) — Родня. — Какой же он, говорят, президент? Спрашивал он всегда скоро, отрывисто, как будто ему надо было как можно поскорее об чем-то узнать. Точно он справку наводил по какому-то очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства () А вот я прошлого года про графиню Лавальер читал, от адъютанта Арефьев книжку приносил. Так это правда или так только — выдуманно? Дюма сочинение. — Разумеется, выдуманно. — Ну, прощайте Благодарствуйте. И Петров исчезал, и в сущности никогда почти мы не говорили иначе, как в этом роде» (4, 83) Мотив этот в НД получает существенное переосмысление²⁶ В «Записках ..» каторжные верят каждому слову Горянчикова, но полагают, что с ним только об этом и можно разговаривать. В НД окружающий простой люд, принимая героя-рассказчика за своего, напротив, подвергает сомнению его суждения. «Солнце не вращается вокруг земли, — сказал я ему, — это не точно; и лотерея не похожа на солнце. — Солнце не вращается вокруг земли? — спросил он иронически. — А кто тебе это сказал? Он говорил совершенно серьезно, тогда я его спросил, грамотен ли он вообще, и он обиделся на меня и все пытался знать, откуда у меня могут быть более достоверные сведения о небесной механике. Авторитета ученых он не признавал и уверял, что они знают не больше нас» (I, 465)

Образованность Горянчикова²⁷ является для окружающих, например для Петрова, единственной сферой, в которой он оказывается

²⁶ Напрасно В. А. Боярский полагает, что в НД «такой аналогии нет» и приводит в качестве «слепок с этой сцены» отношения между героем-рассказчиком и Курчавым Пьеро в «Призраке Александра Вольфа» (см. *Боярский В. А. «Ночные дороги» Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского*) Что же касается других произведений Газданова, то очевидно, что он представлен и в «Пробуждении» (Пьер—Анна), и в «Пилигримах» (Фред—Роже)

²⁷ Если в «Записках» полные и окончательный водораздел проходит по линии социального происхождения, то в НД — по линии образованности Так, Сюзанна говорит о Васильеве «Послушай, ты знаешь, что я только бедная женщина, не получившая образования, такого, как этот старый сумасшедший которого я, в конце концов, убью и который разбил мое счастье». — и слышит в ответ от героя-рассказчика «Если тебя беспокоит его образованность, тут ничего не поделаешь» (I, 555)

полноценным человеком: «Мне кажется, он вообще считал меня каким-то ребенком, чуть не младенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. Если, например, я сам с ним об чем-нибудь заговаривал, кроме науки и книжек, то он, правда, мне отвечал, но как будто только из учтивости, ограничиваясь самыми короткими ответами. Казалось мне еще, что про меня он решил, не ломая долго головы, что со мною нельзя говорить, как с другими людьми, что кроме разговора о книжках, я ни о чем не пойму и даже не способен понять, так что и беспокоить меня нечего» (4, 86—87). В НД некоторые окружающие, напротив, считают героя-рассказчика невеждой: «Он был страстным любителем поэзии; я узнал это однажды вечером, когда он мне сказал с сокрушением: — Вот смотрю я на тебя, и мне грустно становится, какая теперь молодежь сволочная пошла. Я на тебя две недели уже смотрю. Ты б хоть раз книжку какую в руки взял» (I, 484).

Тема обучения у Газданова развивается вначале по линии «Ральди—Алиса» с отчетливыми ассоциациями, отсылающими нас к «Пигмалиону» Б. Шоу: «Она усердно занималась своей протеей, учила ее английскому языку, объясняла ей, как нужно держать вилку и нож, что нужно говорить, как следует отвечать и как себя вести. Она даже позвала меня несколько раз, чтобы я присутствовал на этих уроках, и просила меня объяснить Алисе некоторые вещи, в которых была нетверда сама». Однако как только к ней подключается герой-рассказчик, эти ассоциации корректируются: «По ее просьбе я доставал книги, которые Алиса должна была прочесть: „Liaisons dangereuses“, Боккаччио, Флобера. Я пожимал плечами и послушно соглашался — я не мог почти ни в чем отказать этой старой и удивительной женщине, хотя все это мне казалось и лишним и в какой-то степени неблагоприятным с моей стороны. — Вы заставляете меня играть совершенно несвойственную мне роль, — говорил я Ральди, — я, в сущности, не знаю, зачем я все это делаю (...) — Вы даете ей Флобера, она едва умеет читать, что она может понять в этом?». Роль если не мистера Хиггинса, то по крайней мере полковника Пиккеринга, он берет на себя отнюдь не с просветительским одушевлением, которым пылает герой Шоу (I, 533—534).

Видное место в НД, как и в «Записках...», занимает описание работы. У Достоевского это, например, разбор барки (4, 70—77), обжигание алебаstra или верчение в мастерской точильного колеса (4, 80—81), разгребание снега (4, 81—82) или летние работы «по инженерным постройкам» (4, 177). У Газданова этому соответствует работа «на разгрузке барж в Сен-Дэни» (I, 481—482) или «мытьё» паровозов в депо северных железных дорог Франции (I, 483), причем в отличие от его занятий «преподаванием русского и французского языков» (I, 485) все они более или менее подробно изображаются. Однако для героя-рассказчика НД труд — это только средство выживания, а работа в основном носит мучительный и отупляющий характер:

« передо мной тотчас вставало первое время моего пребывания в Париже, когда я работал на разгрузке барж в Сен-Дэни и жил в бараке с поляками, это был преступный сброд, прошедший через несколько тюрем и попавший, наконец, туда, в Сен-Дэни, куда человека мог загнать только голод и полная невозможность найти какую-либо другую работу» (I, 482), «Мне вскоре, однако, пришлось вернуться туда, на этот раз в депо северных железных дорог Франции, куда я поступил мыть паровозы » (I, 483) В «Записках » Горянчиков ясно осознает, что «без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя И потому каждый в остроге, вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел свое мастерство и занятие» (4, 16)

В целом мир НД противопоставлен миру «Записок » как мир гораздо более жесткий и безнадежный В обоих произведениях встречается огромное количество аналогичных параметров, по которым они обнаруживают свою полную противоположность Приведу лишь один пример Горянчиков неоднократно помогает и делает добро обитателям острога и, как правило, получает за это благодарность — герой-рассказчик НД в ответ на оказание бескорыстной помощи неоднократно сталкивается с неблагодарностью или, и того хуже, возмутительной клеветой (I, 466, 628—629) Напрасно было бы искать у Горянчикова нечто, аналогичное первому из «двух чувств», которые владеют героем-рассказчиком НД «презрение и жалость» (I, 464—465) Впрочем, и у самого героя-рассказчика НД после столкновения с конкретными людьми, даже с такими как Сюзанна и Алиса, — вполне в духе гуманизма Достоевского и вразрез, например с Селином или Г Миллером,²⁸ — первое из этих чувств, как правило, «внезапно» уступает последнему (I, 556, 626—627, 633—634)

3

Отмеченная В А Боярским установка обоих писателей на ругань, сленг, живописание мелких ссор и потасовок может быть проиллюстрирована рядом конкретных сближений Так, например, в «Записках » это перебранки толстяка и высокого арестанта (4, 23—24), а также «двух степенных арестантов», поданные как «пример самых обыкновенных каторжных разговоров» (4, 24—25), перебранки с «добровольным весельчаком» Скуратовым (4, 71—72), рассказ Лучки об убийстве майора (глава «Решительные люди Лучка»), поддразнивания Лучкой Исае Фомича (4, 94), перебранка Варламова и Булкина (4, 114—116), ссора Чекунова со смертельно больным Устьянцевым, в ходе которой один обзывает другого «холопом»,

²⁸ См. *Зверев А М Парижский топос Газданова* С 63

а тот его в ответ «мохнорылым» (4, 133), ругань Устьянцева с госпитальными «неженками» (4, 162), перебранка между Скуратовым и Квасовым (4, 180—181) В качестве примера приведем разговор с «требователем» «экспансивного друга», утверждающего, что «тот поступил с ним несправедливо» и «должен и обязан ему поднести» «— Нет, Степка, это ты должен, — говорит экспансивный друг, видя, что его взяла, — потому *ефто* твой долг — Да я с тобой и язык-то даром не стану мозолить!» — отвечает Степка — Нет, Степка, это ты врешь, — подтверждает первый, принимая от целовальника чашку, — потому ты мне деньги должен, совести нет и *глазат-то* у тебя не свои, а заемные Подлец ты, Степка, вот тебе, одно слово подлец!» (4, 111—112)

Этот и подобные ему эпизоды «Записок», очевидно, послужили Газданову импульсом к написанию образа эпизодической героини по прозвищу «Ничерта» «В эти же часы появлялась смертельно пьяная, худая старуха с беззубым ртом, которая входила в кафе и кричала „Ни черта!“ — и потом, когда нужно было заплатить за стакан белого вина, которое она пила, она неизменно удивлялась и говорила гарсону „Нет, ты перегибашь“ У меня создалось впечатление, что других слов она вообще не знала, во всяком случае, она никогда их не произносила Когда она приближалась к кафе, кто-нибудь, оборачиваясь, говорил „Вот идет Ничерта“ Но однажды я застал ее в разговоре с каким-то мертвецки пьяным оборванцем, который крепко держался двумя руками за стойку и покачивался Она говорила ему — такими неожиданными в ее устах — словами „Я тебе клянусь, Роже, что это правда Я тебя любила Но когда ты в таком состоянии “ И потом, прервав этот монолог, она снова закричала ни черта!» (I, 469)²⁹

В НД подобные перебранки вообще необыкновенно многочисленны, особенно в самом начале романа Приведем лишь несколько примеров « одна из постоянных посетительниц кафе, женщина удивительной некрасивости, с плоским, лягушачьим лицом, но считавшаяся хорошей работницей, говорила, приблизившись вплотную к пятидесятилетнему человеку с Почетным легионом, — ее кто-то напоил в эту ночь — „Ты должен же меня понять, ты должен же меня понять“, — и слушавший ее совершенно посторонний мужчина, особенного типа энергичного пьяницы, наконец, не выдержал и сказал „Нечего тут понимать, ты просто стерва и больше ничего“» (I, 477), «Какой-то худощавый пожилой человек с выражением неподдельной тревоги в глазах пробился сквозь толпу и стал просить мадам Дюваль, чтобы она разрешила ему вскарабкаться наверх, по одной из колонн кафе, — только до потолка и обратно, — вы видите, мадам, я совер-

²⁹ Данный эпизод НД первоначально был написан с сохранением оригинального французского сленга и в таком виде опубликован в журнальной редакции «Современных записок» (*Гаито Газданов* Ночные дороги // *Современные записки* 1939 № 69 С 111)

шенно корректен. Только один раз, мадам, только раз... — и плотный метрдотель вывел его из кафе и предложил ему, уже на улице, попробовать влезть на фонарный столб» (I, 477).

Один из подобных начальных эпизодов НД представляет собой явную реминисценцию из Достоевского, причем на сей раз из «Записок из подполья». Так, проклятия хозяину ресторана, которые французский плотник бормочет себе под нос каждую субботу, хотя хозяин этот уже три года как умер, а ресторан принадлежит другому владельцу (I, 468—469), явно имеют своим первоисточником злобу «подпольного» героя на толкнувшего его офицера: «Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его запомнил. Не знаю только, узнавал ли он меня. Должно быть, нет; заключаю по некоторым признакам. Но я-то, я, — смотрел на него со злобою и ненавистью, и так продолжалось... несколько лет-с! Злоба моя даже и укреплялась и разрасталась с годами» (5, 111).

Как и у Достоевского, в НД не раз изображаются потасовки: «...неизменно оказывалось, что кто-то из них уличен в передергивании, кто-то другой в краже, и между ними начиналась дикая драка» (I, 482). В «Записках...» также немало эпизодов, когда вот-вот должна произойти драка или даже убийство, которые, как правило, все же не случаются (см., например: 4, 42, 85). Иногда, впрочем, драка, как например между «мясистым другом» и «писарем», все же происходила (4, 113), но, разумеется, без вовлечения в нее общей массы, что в условиях острога было чревато серьезным наказанием.

Одним из постоянных мотивов «Записок...» является кража. Так, например, Горянчиков неоднократно рассказывает о том, как его новые мнимые «товарищи» обкрадывают его. В частности, о Петрове он пишет: «Дивился я на него тоже, когда он, несмотря на видимую ко мне привязанность, обкрадывал меня» (4, 86). В НД этому соответствует и неудачная кража Федорченко ангорского кота, и преобразование Платона, надевшего данный ему на временное хранение краденый смокинг: «Он был в смокинге; и всегда небрежное его лицо было свежевыбрито, отчего совершенно *изменилось*...» (I, 506). У Газданова этот мотив, таким образом, служит для развития темы метаморфозы, чего совсем нет у Достоевского — как, впрочем, и самой темы метаморфозы. В то же время иногда мотив этот составляет часть довольно широкой в НД (как и у Достоевского) антибуржуазной темы: «...после ее ухода я вспомнил о гребенке и посмотрел через плечо. Гребенки не было, дама в *sortie de bal* украла ее так же, как это сделала бы горничная или проститутка» (I, 467).

Видное место в обоих произведениях занимают пьяные и алкоголики. В «Записках...» вино — это одно из проявлений свободы человека: «Везде в русском народе к пьяному чувствуется некоторая симпатия; в остроге же к загулявшему даже делались почтительны. В острожной гульбе был своего рода аристократизм. Развеселившись,

арестант непременно нанимал музыку» (4, 35). Своего рода «физиологический очерк» в «Записках...» о «целовальнике», скапливающим торговлей вином «огромную сумму», затем пропивающим все до копейки и, наконец, после ареста снова «принимающемся за ремесло целовальника», иллюстрирует склонность русского человека к загулу, которая не проходит у него даже в остроге (4, 36—38).

Непосредственную параллель к нему в НД, как уже было отмечено В. А. Боярским,³⁰ представляет собой описание периодических загулов Аристарха Александровича Куликова, в результате которых его ресторан продается с молотка: «Работая на заводе или в шахте, он долгими месяцами копил деньги. Потом, располагая известной суммой личных денег, взяв займы у товарищей все, что они могли дать, и пустив в ход свои кредитные возможности, он открывал ресторан и сразу же начинал зарабатывать. Он выплачивал долги, начинал богатеть, покупал дорогие костюмы, жил в хорошей квартире, и все шло в таком благополучии несколько месяцев, иногда почти год, вплоть до того дня, когда, выпив однажды лишнее, он вдруг впадал в неожиданное благотворительное исступление. Стоя посередине своего ресторана, с растрепанными волосами и съехавшим галстуком, он кричал: — Пей, ребята, ешь, пей в мою голову! Мы же русские, братцы, если мы друг другу не будем помогать, кто нам поможет? Все бесплатно, ребята, помните Аристарха Александровича Куликова, в случае чего, пожалейте!» (I, 530—531). Куликов затем в разговоре с героем-рассказчиком извиняет эту губительную для русских склонность к загулу: «— Пьют они здорово, — почти шепотом сказал мне Аристарх Александрович, — видишь, *образ человеческий теряют*. А с другой стороны — разве можно за это русских людей обвинять?» (I, 529). Таким образом, у Газданова пьянство русского человека, с одной стороны, изображено как потеря «человеческого образа», а с другой — судя по всему, в глазах большинства других героев, причем не только русских эмигрантов, но и Платона, представляет собой своего рода защиту от житейских тягостей.

Пьянство-погибели, о котором говорит как герой-рассказчик: «— Пьете вы много, вот что, — сказал я ему в ответ» (I, 548), так и тот же Куликов в минуту рассудительности: «Не дай Бог, начнешь пить — пропадешь» (I, 529), — противопоставлена философия пьянства как защиты и спасения. Довольно неожиданным образом эта философия вложена в романе в уста Платона, которого, впрочем, вслед-

³⁰ Боярский В. А. «Ночные дороги» Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Несколько формалистично выделяя мотивы, исследователь находит в обоих произведениях «мотив накопления», выступающий «в сложном единстве с мотивом расточительства», «мотив охраны (со стороны друзей) впавшего в „исступление“» и «мотив тяжелого труда» и подкрепляет свои сближения убедительными сопоставлениями

ствии потери им всяких социальных связей, довольно трудно счесть за представителя французского общества: «— Я не понимаю, как вы все это выносите, будучи непьющим человеком. Вам надо пить, уверяю вас, иначе вы погибнете; и когда наступит ваш собственный конец, он будет еще трагичнее, чем все, что вы мне рассказываете» (I, 656).

В полном соответствии с диагнозом Платона постоянная трезвость героя-рассказчика только усугубляет его экзистенциальное и одновременно этнокультурное отчуждение: «В этом ночном Париже я чувствовал себя каждый день, во время работы, приблизительно *как трезвый среди пьяных*. Вся его жизнь была мне чужда и не вызвала у меня ничего, кроме отвращения или сожаления» (I, 631). Пьянство лишено в глазах героя-рассказчика НД какой-либо привлекательности загула, освобождения, ощущающейся у Достоевского. Скорее, ему близко весьма реалистичное объяснение Платоном причин пьянства как своего рода болезни: «— Платон, отчего вы пьете? Он сделал несколько шагов, не отвечая, потом сказал: — Вот и в данном случае большинством людей эта проблема решается неправильно. Истина, печальность которой я не собираюсь отрицать, заключается в следующем: мы алкоголики не потому, что мы пьем, нет; мы пьем оттого, что мы алкоголики» (I, 509). Более того, иногда загул героев НД, например m-г Мартины, рождает в душе героя-рассказчика реакцию, явно отмеченную воздействием философии «безнадежности» (в истолковании Чехова Львом Шестовым): «Я смотрел на его залитый грязью костюм, ссадины на лице, сиротливые, маленькие глаза под беретом. — Я думаю, что уже ничего нельзя сделать, — сказал я» (I, 471).

Зато губительное для него «вочеловечение» Федорченко также описано как переход от постоянной разумной трезвости к пьянству: «Я встретил его однажды ночью, в кафе; он был, казалось, совершенно пьян, особенным, свирепым охмелением. Он пригласил меня к стойке и сразу начал говорить, путая русские слова с французскими, о том, как ему трудно жить в этом мире, *dans cette monde*; он до конца не научился отличать во французском языке мужской род от женского» (I, 548).

Помимо алкоголиков в центре внимания обоих писателей находятся сумасшедшие. В «Записках...» им посвящено несколько страниц, помещенных в разделе, в котором Горянчиков описывает свое пребывание в госпитале. Причем здесь изображаются как настоящие сумасшедшие, так и обитатели острога, прикинувшиеся сумасшедшими и приведенные в госпиталь «на испытание» (4, 158—161). Между прочим, сам Достоевский описывает здесь «одного странного сумасшедшего», который рассказывает Горянчикову как «чрезвычайную тайну», что дочь полковника Г. влюблена в него и хлопочет, так что следуемого ему телесного наказания не будет (4, 160). Рассказ этот несет на себе явные отголоски гоголевских «Записок сумасшедшего», поэтому нет ничего удивительного в том, что изображение встречен-

ных героем-рассказчиком НД уличных безумцев содержит в свою очередь реминисценции из Достоевского.

У Газданова, впрочем, мотив этот занимает более широкое место. «Всегда, каждую ночь, я встречал нескольких сумасшедших; это были чаще всего люди, находящиеся на пороге сумасшедшего дома или больницы, алкоголики и бродяги» (I, 468) — вслед за этой тирадой героиней рассказывает нам о плотнике, грозящем давно умершему хозяину ресторана, о женщине по прозвищу Ничерта и о m-г Мартини. Однако далее в соответствии с обозначенной газдановским нарратором топографией сумасшедшего Парижа: «Я заранее знал, что на такой-то улице будет проходить такой-то сумасшедший, а в другом квартале будет другой» (I, 468), — он повествует о них в разных местах книги по мере их появления. Кроме того, он изображает сумасшедшего шофера, убежденного в том, что «каждый человек может и должен летать» (I, 630), и упоминает здесь, между прочим, что «среди шоферов, как во всякой сколько-нибудь многочисленной корпорации, попадались самые разнообразные типы, в частности сумасшедшие или начинавшие сходить с ума» (I, 631).

Однако помимо этих эпизодических сумасшедших у Газданова нарастающим безумием отмечены еще целых три героя. Во-первых, это Васильев, которым владеет мания преследования его большевиками, якобы готовящими на него покушение. Во-вторых, это сам Федорченко, пробуждение сознания в котором временами изображается как сумасшествие: «Медленное и заразительное его сумасшествие начало в те времена становиться заметным» (I, 547). Подлинное осознание абсурдности мира неизбежно включает в себя, по Газданову, и момент сумасшествия — по крайней мере, для неподготовленного сознания. Отчасти с Федорченко все это происходит под влиянием Васильева, но попытка героя-рассказчика отрицать значимость того, что говорит Васильев, наталкивается на сопротивление Федорченко: «— У Васильева скоро начнется белая горячка, — сказал я, — его слова нельзя принимать всерьез. — Но раз он что-то думает, значит, то, что он думает, существует?» (I, 550). Причем неожиданно Федорченко обнаруживает не только знакомство с общими началами философии, но и прямое знакомство с творчеством Достоевского: «— Это, конечно, катастрофа. Но не забывайте, что он был сумасшедшим. — Вы думаете? — Уверен. — Да, но если нет Бога, государства, науки и так далее, то это значит, что сумасшедших тоже нет» (I, 644). Фраза о том, что «коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели» (15, 67), вложенная Достоевским в уста Смердякова, под пером Газданова обретает другой вид. Место «добродетели» у него занимают «сумасшедшие».³¹

³¹ Подробнее об этом см.: *Кибальник С. А.* «Новые узоры по старой канве». С. 270.

Наконец, у Платона с самого начала в глазах окружающих репутация сумасшедшего: «...эта отвлеченность его речи создала ему в кафе, где его собеседники были чаще всего простые люди, репутацию сумасшедшего» (I, 508). И сам герой в финале романа не только допускает, что скоро сойдет с ума, но и серьезно беспокоится о том, что может сделаться опасным для окружающих (I, 579). В экзистенциальной картине мира, представленной у Газданова, сумасшествие это не просто сумасшествие, как у Достоевского, но одна из последних стадий осознания абсурда жизни: «...трагическая нелепость моего существования представляла передо мной с такой очевидностью, что только в эти минуты я отчетливо понимал вещи, о которых человек не должен никогда думать, потому что за ними идет отчаяние, сумасшедший дом или смерть» (I, 479).

Видное место в обоих произведениях занимает изображение проституток. При этом и проститутки НД, и приходящие в острог женщины «Записок...» вызывают у повествователей одинаково брезгливое чувство. У Горянчикова внутреннее отторжение рождает прежде всего грязь («это была наигрязнейшая девица в мире», «эта уже была вне всякого описания», «связался с нищей» — 4, 30, 115). В НД тоже есть этот мотив: «...потом я узнал, что даже очень пожилые и *неряшливые* женщины имеют свою клиентуру и нередко зарабатывают не хуже других» (I, 469); «...ко мне подошла женщина, одетая в черные лохмотья, с грязно-седыми, нечесаными волосами; она приблизилась вплотную ко мне, так, что я почувствовал тот сложный и тяжелый запах, который исходил от нее» (4, 493). Впрочем, внешняя непривлекательность проституток НД все же иного порядка: «...все они были очень надушены крепкими дешевыми духами, чем-то вроде едкого раствора плохого мыла, и от их соседства у меня во рту появлялся дурнотный вкус» (I, 517). Однако в НД прежде всего подчеркивается их бездуховность — причем это такая бездуховность, которая заставляет поставить под сомнение принадлежность этих женщин к человеческому роду: «...и ее напудренное лицо с не изменявшимся, по-видимому, ни в каких обстоятельствах *выражением холодной тупости*, которое я давно знал» (I, 495); «...женщины типа Сюзанны так же любят, как другие (...) это унижительное уравнение я всегда понимал только теоретически, я никогда не мог почувствовать и поверить до конца, что это так»;³² «И только тогда, посмотрев внимательно

³² В. А. Боярский усматривает в произведениях Газданова и Достоевского еще один «совпадающий мотив — мотив праведной блудницы» и проводит параллели между зарезанной своим мужем невиновной Акулькой (глава «Акулькин муж» — 4, 165—173), с одной стороны, и Ральди, Алисой и Сюзанной, с другой. Однако это сближение представляется надуманным, так как в сущности ни одна из трех героинь «ночных дорог» не может быть с достаточным основанием отнесена к этому типу (Боярский В. А. «Ночные дороги» Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского).

на эту красавицу, я заметил в ее глазах ту же полупрозрачную пленку, тот же налет *животной глупости*, который я так хорошо знал и который был характерен почти для всех женщин ее ремесла» (I, 532). Выделенные слова героя-рассказчика снова заставляют вспомнить уже процитированное выше утверждение Ницше о том, что «человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком». Очевидно, однако, что, по Газданову, многие люди находятся посередине между животным и человеком.

У Газданова проститутки, как и сумасшедшие, нищие, бродяги и даже отчасти рабочие, в соответствии с экзистенциальной картиной мира, это не совсем люди. В отличие от «Записок...» в НД они не вызывают у повествователя ни малейшего сочувствия: «...каждую ночь мне приходилось сталкиваться с проститутками и их клиентами, и я не мог к этому привыкнуть. Мне все это казалось совершенно непостижимым» (I, 517); «И только в Париже, на ночных его улицах, я увидел нищих, которые не вызвали сожаления; и сколько я ни старался себе внушить, что нельзя же это так оставить и нельзя дойти до такой степени очерствения, что их вид у тебя не вызывает ничего, кроме отвращения, — я не мог ничего с собой поделать» (I, 493—494).

Невозможно, например, представить себе на страницах «Записок...» нижеследующий отзыв героя-рассказчика НД о рабочих и крестьянах, торгующих на Центральном рынке Парижа: «...я смотрел на обветренные лица и на особенные их *глаза, точно подернутые прозрачной и непроницаемой пленкой, характерной для людей, не привыкших мыслить*, — такие глаза были у большинства проституток, — и думал, что, наверное, то же, вечно непрозрачное, выражение глаз у китайских кули, такие же лица были у римских рабов — и в сущности, почти такие же условия существования» (I, 518).

Отличие экзистенциальной картины мира от позиции Достоевского становится особенно очевидным, как только мы обратим внимание на то, что отнюдь не только проститутки и рабочие, но и многие представители образованных и обеспеченных социальных слоев обнаруживают у Газданова полную неразвитость сознания: «Видя лица коммерсантов, служащих, чиновников и даже рабочих, я находил в них то, чего не замечал раньше, когда был моложе, какое-то идеальное и естественное отсутствие отвлеченной мысли, какую-то удивительную и успокаивающую тусклость взгляда. Потом, присмотревшись, я начал думать, что это спокойное отсутствие мышления объяснялось, по-видимому, последовательностью нескольких поколений, вся жизнь которых заключалась в почти сознательном стремлении к добровольному душевному убожеству, к „здоровому смыслу“ и неприятию сомнений, к боязни новой идеи, той боязни, которая была одинаково сильна у среднего лавочника и у молодого университетского профессора» (I, 636—637).

Согласно В. А. Боярскому, в обоих произведениях присутствует также и «мотив накопления», который в «Записках...» «проявляется прежде всего в образе Исаяи Фомича», а в НД «воплощает мадам Дюваль, французенка, всю жизнь проработавшая в своем кафе, сколотившая себе немалое состояние, однако неспособная бросить свое занятие, пока оно еще приносит прибыль...».³³ В действительности, Газданов следует за Достоевским в гораздо более широком плане — а именно в плане сопоставления психологии буржуа и пролетариатов.

Что касается «накопления», то в НД есть немало примеров того, как оно достигается крайней бережливостью (I, 489). Так, например, Федорченко начала романа своей «исключительной бережливостью и анекдотической скупостью» напоминает господина Прохарчина: «...питался только бульоном, хлебом и салом, которое он купил сразу в большом количестве за ничтожную цену, потому что, объяснял он, оно сверху было немножко испорчено, и все откладывал деньги. Потом он купил прекрасные дорогие часы на руку, — но они стояли всю неделю, он заводил их только в субботу и воскресенье, говоря, что иначе механизм изнашивается» (I, 489). Впрочем, в НД есть и непосредственный «двойник» господина Прохарчина: «Я видел одного зловонного старика, который мрачно бормотал за стойкой кафе, что ему нечем платить и что гарсон его обкрадывает, — потому что он не хотел менять тысячефранковый билет; он носил с собой свое состояние, четырнадцать тысяч франков» (I, 572).³⁴

Тема скупости вообще решена Газдановым с явными отсылками к Достоевскому. В НД мы находим целую галерею господ Прохарчиных — причем из самых разных социальных слоев: «...я знал миллионеров с грязными руками, трудившихся по шестнадцати часов в день, старых шоферов, у которых были доходные дома и земли и которые, несмотря на одышку, изжогу, геморрой и вообще почти отчаянное состояние здоровья, — все же продолжали работать из-за лишних тридцати франков в день; и если бы их чистый заработок опустился до двух франков, они все равно работали бы до тех пор, пока в один прекрасный день не могли бы встать с кровати» (I, 473).

Оба писателя не только воспроизводят традиционную для русской литературы антибуржуазную парадигму, но и фактически отрицают существование принципиальных различий в этом отношении между

³³ Там же.

³⁴ Еще более существенно сходство эпизодического персонажа Газданова с «нищим, ходившим в отрепье», после смерти которого «нашли зашитыми в его рубище до трех тысяч кредитными билетами», и с другим нищим, которого «арестовали и нашли при нем до пяти тысяч рублей», о чем «прочел в газетах» герой «Подростка» Аркадий (13, 66).

социальными группами Герой-рассказчик НД неоднократно выражает эту точку зрения «При самом беспристрастном отношении ко всем, я не мог не заметить, что разница между ними была всегда невелика, и в этом оскорбительном уравнении женщина в бальном туалете, живущая на Avenue Henri Martin, немногим отличалась от ее менее удачливой сестры, ходившей по тротуару, как часовой, от одного угла до другого, и люди почтенного вида на Passy и Auteuil так же униженно торговались с шофером, как выпивший рабочий с Rue de Belleville» (I, 466), «дама в sortie de bal украла ее так же, как это сделала бы горничная или проститутка» (I, 467) В сущности та же самая мысль высказана им по поводу «зловонного старика» с 14 000 франков наличными «Я не знаю, что в его жизни было более случайно — то, что он был бродягой, или то, что он не был банкиром Он был одет так же, как все бродяги, так же питался отбросами, которые подбирал на Центральном рынке, и так же спал на ступеньках метро Но я думаю, что корпорация ростовщиков или акционеров потеряла в нем ценного члена их общества» (I, 572)

В этом отношении с ним вполне солидарен и Платон «Людей он, впрочем, так же низко расценивал, как Ральди, всех решительно, причем ни чины, ни положение, ни репутация человека не играли в его глазах никакой роли, и я рад был однажды услышать от него, что в его представлении средний преступник, имеющий в своем прошлом два или три уголовных дела, не очень отличается от среднего депутата или министра, и в сфере бескорыстного суждения, как он говорил, — в своеобразной его социальной иерархии, они стоят на одном и том же уровне, — и я был рад это услышать, так как разделял совершенно этот взгляд» Герой-рассказчик подкрепляет это суждение примером «молодоженов, кажется, крестьянского происхождения, которые убили богатого старика, взяли деньги, около полутора тысяч франков, и через три дня после этого приобрели в собственность гастрономический магазин, в котором собирались делать карьеру честных коммерсантов» «— Я полагаю, что это были бы прекрасные коммерсанты», — резюмирует эту историю Платон (I, 512)³⁵

В данном случае Газданов прямо воспроизводит логику Достоевского, содержащуюся, впрочем, не в «Записках », а, например, в «Зимних заметках о летних впечатлениях» применительно не к русским, а как раз к французским рабочим и землевладельцам «Кого же бояться? Работников? Да ведь работники тоже все

³⁵ «— Не забывайте, что эти люди глубоко буржуазны по своей натуре, — говорит Платон о неожиданном превращении Сюзанны во владелицу мастерской Они неудачники в буржуазности, я с этим согласен, но они чрезвычайно буржуазны» И прибавляет «Вспомните ваших убийц, открывших гастрономическую торговлю чуть ли не на следующий день после преступления» (I, 540)

в душе собственники: весь идеал их в том, чтоб быть собственниками и накопить как можно больше вещей; такая уж натура. (...) Землевладельцев? Да ведь французские землевладельцы архисобственники, самые тупые собственники, то есть самый лучший и самый полный идеал собственника, какой только можно себе представить» (5, 78).³⁶

Из сходных отдельных образов и ключевых слов обращает на себя внимание прежде всего то, что слова «мертвый», «мертвенный», «заключение», «каторга» и даже «тюрьма» явно не случайно неоднократно появляются на страницах НД: «Нередко, возвращаясь домой после ночной работы по *мертвым* парижским улицам» (I, 465); «...в то время как европейцы жили в мире реальном и действительном, давно установившемся и приобретшем *мертвенную* и трагическую неподвижность, неподвижность умирания или смерти» (I, 616); «Иногда, после такого очередного припадка, я впадал в почти *мертвенное* душевное состояние, и тогда я нередко сутками лежал у себя в комнате, не выходя из нее, ничего не видя и ничем не интересуясь» (I, 640). Эта сознательная отсылка писателя к претексту НД только подчеркивает внутреннее противопоставление его романа «Запискам...». У Достоевского «Мертвый дом» в противоположность заглавию гоголевских «Мертвых душ» звучит как оксюморон: души лишенных в остроге гражданских прав людей оказываются совсем не мертвы. В НД души некоторых свободных жителей Парижа, в особенности французов, мертвы или близки к смерти.

Сопоставления с тюрьмой возникают у героя-рассказчика НД, когда он вспоминает о своей работе на фабрике: «...я не мог выдержать этого постоянного *заклучения в мастерской, я чувствовал себя как в тюрьме*». Герой Газданова искренне недоумевает: «...как могут люди всю жизнь, десятки лет жить в таких условиях? Правда, этому предшествовали, чаще всего, целые поколения их предков, всегда занимавшихся физическим трудом, — и никогда, ни у одного из профессиональных рабочих я не замечал протеста против этого невыносимого существования» (I, 486). Это несколько напоминает наблюдения Горянчикова о том, как тяжело ему и другим дворянам было переносить заключение, в то время как простолюдинам это давалось гораздо легче.

Учитывая все вышеназванные сближения и наличие целого ряда других общих тем, можно говорить о тесной интертекстуальной связи этих двух произведений и даже полагать «Записки...» основным претекстом НД. В целом, как я уже писал об этом раньше, в НД Газданов «продолжает тот антимещанский и антибуржуазный текст русской литературы, наиболее яркие страницы которого принадлежат

³⁶ Почти в тех же выражениях Достоевский высказывал эту мысль в письме к Н. Н. Страхову от 26 июня (8 июля) 1862 г. (5, 360).

Достоевскому».¹ Однако теперь к этому выводу необходимо добавить еще один: воспроизводя основные координаты художественного мира Достоевского, Газданов в то же время существенно его трансформирует, нередко решая общие темы не только иным, но даже и противоположным образом. Тем самым он утверждает иную картину мира, которая в некоторых своих фундаментальных принципах близка к экзистенциалистской парадигме. Тем не менее тесная метатекстуальная природа НД по отношению к «Запискам...» Достоевского позволяет заключить, что первое из этих произведений представляет собой римейк второго. Разумеется, при этом термин «римейк» употреблен здесь в том широком его понимании, о котором мне уже приходилось писать.²

¹ Кибальник С А «Новые узоры по старой канве» С 259

² Там же С 273

Н Ф БУДАНОВА

В ПОИСКАХ УТЕРЯННЫХ РУКОПИСЕЙ И КНИГ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДОСТОЕВСКОГО

Новые архивные материалы

Предыстория этой публикации такова. В конце 2007 г. я неожиданно получила по почте подарок — майский номер краснодарского журнала «Культурная жизнь Юга России» с содержательной и благожелательной рецензией И. Д. Золотаревой и В. К. Чумаченко на изданный в 2005 г. Пушкинским Домом под моей редакцией коллективный труд «Библиотека Ф. М. Достоевского. Опыт реконструкции. Научное описание». К журналу было приложено следующее сопроводительное письмо

«Многоуважаемая Нина Федотовна!

Посылаю Вам номер нашего журнала с откликом на книгу „Библиотека Ф М Достоевского“

Будем рады, если у Вас появятся какие-то мысли по поводу публикуемых архивных документов. В этом случае присланный Вами материал будет опубликован вне очереди.

С добрыми пожеланиями — Виктор Кириллович Чумаченко, кандидат филологических наук, профессор, зав кафедрой литературы Краснодарского государственного университета культуры и искусств, первый зам гл редактора журнала „Культурная жизнь Юга России“»